



Владимир Войнович

Замысел

ФТМ



Владимир Николаевич Войнович

Замысел

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153243

Замысел: Эксмо; Москва; 2004

ISBN 5-699-08029-5

Аннотация

Эта серия состоит из трех книг, написанных в разное время, но она едина и каждая ее составная есть часть общего замысла. При подготовке книги к печати я думал, не осовременить ли текст, убрав из него какие-то куски или детали, которые сейчас могут казаться неважными, устаревшими, и добавив новые пояснения, уточнения. Но потом решил, что подобное исправление текста задним числом может помешать читателю почувствовать атмосферу того времени, когда все это было написано. Так что пусть все останется как есть.

Содержание

Поворот сюжета	7
Пакет, пришедший с оказией	10
Элиза Барская. Пробуждение	12
Встречное перетекание душ	19
Жизнь целиком	26
Хорошие мужики	28
Ходоки и посетители	31
Иван Чонкин. Вариант	36
Ультиматум	39
Делай, что должно	43
И пошел целый	44
С печенью в сердце	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Владимир Войнович

Замысел

В начале поставим слово, и это слово будет Бог.

Бог в религиозном, философском или любом доступном вашему пониманию смысле. Кто бы ни стоял за нашим созданием, трудно не увидеть, что каждый человек несет в себе некий Замысел, вложенный в него и составленный в виде загадки. Ключа к загадке нет, но есть разбросанные там и сям туманные намеки на то, что она существует и при некотором усилии поддается разгадке, хотя бы приблизительной.

Человек может не подозревать о вложенном в него Замысле, не думать о нем и проносить его в себе всю жизнь, как зерно в мешке, которое, не попав на мельничный жернов или в почву, так осталось и пропало в виде зерна.

Человек может верить в Замысел, но не угадать и мучить себя игрой на скрипке, не зная того, что создан для игры в городки. Или наоборот.

Эта книга многослойная, как капуста.

В ней речь:

Об авторе этих строк, который до попытки разглядеть в себе себя произрастал вегетативно, по принципу: семя брошено, дождь идет, солнце греет и что-то будет.

О том, как, заскучав в процессе роста, подумал: а что, если вдруг в нем есть задатков чуть побольше, чем в простейшем

растении, – и попробовал сделать из этого выводы.

О том, как стал вглядываться в себя, искал вложенный За-мысел; о том, насколько его разгадал, как пытался ему следовать и почему от него отклонялся.

О собственном общем замысле автора, о том, как он за-мыслил провести свою жизнь и что из этого получилось.

О замысле всего своего писания, зачем он за это взялся, что кому хотел сказать-доказать, о замысле разных книг, тем, сюжетов, образов и, наконец, об определенном замысле, воплотившемся частично в образе солдата Ивана Чонкина.

О том, как обстоятельства жизни автора влияли на возникновение и развитие замысла.

О том, как замысел, осуществленный и воплощенный, как бы материализовавшись, стал причиной многих тревожных поворотов судьбы, которые прошлой жизнью не были ни малейшим образом предвещаемы.

И наконец о том, как новые обстоятельства жизни резко повлияли на развитие общего и частного замысла и привели к разным осязаемым результатам, включая вот эту книгу, которая называется ЗАМЫСЕЛ.

Книгу эту я буду писать предположительно всю оставшуюся жизнь, и все, что отныне будет (и кое-что, что доньше было) мною сочинено, может считаться входящим в нее. На вопрос, о чем эта книга, я отвечаю всегда: она обо всем. Меня спрашивают: а если серьезно? Я отвечаю серьезно:

она обо всем. Я надеюсь, что в числе ее достоинств будут предельные искренность, откровенность и непредвзятость в описании отдельных событий и личностей. Но при этом она есть не проповедь и не исповедь, а в какой-то степени самопознание, попытка объяснить себе себя и себя другим, и других себе. В ней я собираюсь выйти на люди со всеми своими воспоминаниями, наблюдениями, переживаниями, замыслами, идеями, сюжетами, соображениями по поводу и без повода, фразами, пришедшими на ум просто так. Книга эта не вписывается ни в какой жанр: она отчасти роман, отчасти мемуары, а в общем, ни то, ни то. Части книги самостоятельны, самодостаточны и взаимозаменяемы. Ни одна из них не может считаться ни первой, ни второй, ни следующей, хотя бы потому, что они пишутся одновременно и друг друга не продолжают, но дополняют. Книга эта, если сравнить ее с водным пространством, не река с истоком и устьем, а озеро, в которое можно войти с любой стороны. Начало книги условно, вступительные главы могут быть перенесены из одной части в другую, а что касается конца, то он точно не планируется, но последнее написанное автором в этой жизни слово должно стать и последним в книге.

Поворот сюжета

Описывать жизнь писателя вне его замыслов столь же бессмысленно, сколь жизнь шахматиста без сыгранных, выигранных, проигранных и недоигранных партий. Замысел этой книги возник... Когда он возник, я, право, уже и не припомню, тут, может быть, никакого определенного момента и не было, как не бывает, наверное, момента образования облака. Но, во всяком случае, когда-то он все же возник и медленно тлел в сознании, пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах.

Автор этих строк, которого обозначим инициалами В. В., совершал очередную прогулку в пределах рощи Форст Кастен, которая начинается сразу за уже прославленным нами Штокдорфом. А сама эта роща еще ничем не прославилась, хотя говорят, и один местный житель страстно в том В. В. уверял, что именно в этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин и даже известно место, где охотник соорудил, может быть, свой первый в жизни шалаш. Теперь рощу Форст Кастен с именем вождя мирового пролетариата, ныне развенчанного, связывают только отдельные специфически подготовленные эрудиты, тысячам же баварцев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах биргартена, то есть пивной на открытом воздухе, охотно посещаемой и автором книги «Замысел».

И сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом биргартене, если бы неожиданный поворот сюжета не предопределил ей иное, более интересное завершение.

Передвигаясь в сторону указанного заведения, В. В. обдумывал план своей предстоящей поездки в Америку, где он собирался встретиться с важными людьми по важному делу, которое важными людьми могло быть подвинуто в желательном направлении. Предвкушая будущий свой разговор с важными людьми и отбирая для него наиболее убедительные аргументы, В. В. из спокойного состояния переходил в возбужденное, размахивал руками, бормотал что-то себе под нос, когда в груди у него, и не слева, а ровно посредине, возникло и стало нарастать непонятное жжение с одновременной отдачей в локти и одеревенением губ. В. В. показалось, что в него вставили кипятильник и он весь сейчас закипит.

Испытывая столь незаурядное ощущение, он прислонился спиной к ближайшей сосне, а ноги стал выдвигать вперед. Трава была скользкая после дождя, ноги поехали, спина притормаживала, и автор плавно опустился в мокрое там, где стоял. Пока он опускался, все его предыдущие планы показались ему совершенно ничтожными, люди, встречи с которыми он ожидал, не стоящими ожидания и страна Америка недостойной того, чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета. В. В. сидел на мокрой траве, упершись в нее руками, смотрел, как смещаются в странном смешении деревья, люди, собаки и облака, и, вслушиваясь в завывания

недалекой сирены, сказал смущенно склонившимся к нему лицам:

– Es brennt hier.

Кажется, именно тогда, на парусиновом лежаке реанимобиля, визгливо оповещавшего о неотложности своего движения, весь этот замысел возник перед автором с такой ясностью, которая, как говорят, озаряет человека только на грани потери сознания.

Пакет, пришедший с оказией

За два дня до того пришел довольно толстый пакет, отправленный из Амстердама, видимо, кем-то из советских туристов. Содержимое обернуто плотной светло-коричневой бумагой того сорта, из которого делают мешки для цемента. Я разрезал лохматый шпагат хлебным ножом и извлек рукопись (первый экземпляр), напечатанную на тонкой полупрозрачной желтоватой бумаге. На первой странице было написано название: «ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» и в правом верхнем углу – фамилия автора: Элиза Барская.

Это было время, когда горбачевская перестройка стала проявлять себя воскресением забытых имен, голосов и лиц, телефонными звонками, неожиданными визитами и почтой, приходящей сперва кружным путем и с оказией, а потом уже и прямо с советскими марками и штемпелями. Резко возросло количество рукописей, авторы которых, похоже, еще не очень надеялись на отечественных издателей и преувеличивали возможности своего зарубежного адресата. Рукописей скопилось уже столько, что о прочтении их всех целиком не могло быть и речи. Но первые страницы я обычно читал. Полагая, что качество любой книги можно оценить по нескольким страницам, иногда даже и по одной первой.

Я налил себе чашку кофе, сел тут же на кухне за стол и стал читать рукопись, предполагая, что терпение мое иссяк-

нет вместе с содержимым чашки...

Элиза Барская. Пробуждение

*...Я просыпаюсь оттого, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется **не туда**...*

Публикатор (то есть В. В.) считает своим долгом предупредить целомудренного читателя, что здесь и далее Элиза Барская подобно многим другим нынешним сочинителям описывает подробности своей жизни с полной или даже чрезмерной откровенностью и не желает считаться с пределами так называемой нормативной лексики. По этому поводу публикатор имел с сочинительницей некую эпистолярную дискуссию, в которой она выразила свое отношение к предмету таким образом. «Возможно, будучи испорченной прочитанными мною в больших количествах американскими романами, я с некоторых пор думаю, что в литературе никаких запретных тем, положений и выражений быть не должно, как в медицине, где никому не приходит в голову считать, что гинеколог и проктолог занимаются чем-то более неприличным, чем, допустим, дантист. Чем больше я думаю, тем меньше понимаю, почему литература должна избегать описания тех сторон жизни, которые нас больше всего волнуют, являются причиной нашего появления на свет и бывают источником наших наиболее острых переживаний. Соображения, что раньше литература обходилась без этого, меня несколько не убеждают, раньше не было Фрейда и вообще лю-

ди не понимали, что причина их многих волнений, психических расстройств и всяческих комплексов кроется именно в той сфере, о которой не то что говорить, а и думать – фи, как дурно! Что же касается нормативов в лексике, то и тут я потеряла ориентиры, для меня каждое слово означает не больше того, что значит, и я не вижу никаких доказательств того, что, допустим, латинское слово «пенис» звучит благозвучней или приличней нашего русского эквивалента. Мне говорят, что вообще-то я права и даже ломлюсь в открытую дверь, в конце концов, можно употребить самое нецензурное слово, но только (только!) в том случае, если это диктуется художественной необходимостью. Эти глупости слышу я от самых умных людей, которым не приходит в голову, что в художественном сочинении никакое слово, даже «каша» или «погода», не следует употреблять, если нет художественной необходимости.

Все живые слова нашего языка я считаю естественными и пригодными к употреблению, а если и согласилась заменить в некоторых из них буквы точками, то только уступая твоему и всеобщему (и своему тоже) ханжеству. Хотя замена такая приводит лишь к тому, что читатель, восстанавливая пропущенное, переберет в уме не одно, а несколько слов, и иногда пойдет дальше того, что имелось в виду. Помню, что в классе шестом, читая какую-то старинную книгу, я наткнулась на место, где было сказано, что Екатерина II на балконеась с гвардейцем. Я перебрала все известные мне глаго-

лы, призвала на помощь нескольких одноклассниц и одного одноклассника, но количество букв в приходивших нам на память словах никак не совпадало с количеством проставленных точек, и только став взрослой, я случайно узнала, что данное сочинение имело в виду, что Екатерина на балконе с гвардейцем целовалась. Всего лишь. Во всяком случае, только это имел в виду автор книги».

И вот цитата из ответного письма Элизе.

«С твоими рассуждениями по данному поводу полностью солидарен, чему подтверждение ты найдешь, например, в главе «Евреи тела» и др. Я также согласен и с теми людьми, которые говорят, что ходить нагишом естественно и уж никак не более безнравственно, чем одетым, но, подчиняясь принятым в человеческой среде обычаям, я все же на улицу выйти без штанов не решусь и даже в шортах чувствую себя неуютно. Вот и на прямое и безыскусное написание слов, употребляемых всеми слоями нашего общества, я по воспитанному с детства (ты правильно заметила) ханжеству и вопреки своему убеждению решиться никак не могу, и рука сама норовит заменить их эвфемизмами или точками...

Кроме тех редких случаев, где даже точки могут противоречить художественной необходимости».

...Я просыпаюсь оттого, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется не туда.

Мне ужасно хочется спать и ничего больше, но, чтобы из-

бавить себя от его неловких попыток, я протягиваю руку, помогаю ему, а затем, слегка подтянув и развернув колени, чтобы ему было удобно, расслабляюсь. Его действия не вызывают в моем организме никакого отклика, не волнуют и не особенно раздражают, мое влагалище бесчувственно, как пересохший оазис. Даже воспоминания о моем первом муже не пробуждают во мне уже ничего, я опять впадаю в дремотное состояние и думаю о чем-то, не имеющем ни малейшего отношения к происходящему.

Свет уличного фонаря сочится сквозь тюль, размазав по потолку грязную тень четырехрожковой люстры. Кстати, пора ее протереть.

За окном звуки раннего утра: дворник шуршит метлой, проехала «Скорая помощь», в булочную привезли хлеб, слышен стук ящиков, швыряемых на наклонный лоток.

Существо, нависающее надо мной, сопит, наша арабская кровать отзывается деловитым скрипом, дворник шуршит метлой, на кухне капает кран, время течет в рваном ритме, подчиняясь которому я уплываю куда-то в сторону, может быть, даже в сторону моря с запахом рыбы, водорослей и помидоров.

О чем я думаю, пересказать трудно. Пожалуй, ни о чем интересном. О том, что мне исполняется сорок лет, что с утра будет много звонков, вечером гости, а в промежутке надо будет сходить на рынок, отнести в издательство переведенную рукопись, сделать прическу и маникюр, забежать к Лариске

насчет того платья, которое я у нее присмотрела, съездить в стол заказов на Кузнецком мосту, заодно выкупить в Лавке писателей очередной том Достоевского, навестить родителей и, самое главное (самое главное чуть не забыла), к пяти часам я должна быть в райкоме, где выездная комиссия, состоящая из заслуженных пенсионеров, должна утвердить мою кандидатуру на турпоездку в Англию.

О боже! А в восемь у меня уже гости. Придется позвонить Люське. Пусть придет и поможет.

Пока я обо всем этом думаю, он продолжает надо мной трудиться и делает это с достойным восхищения однообразием: упершись волосатыми руками в матрас, совершает возвратно-поступательные движения, точно так же, как потом, перед душем, будет отжиматься на полу. Вдох – задержка дыхания – выдох, вдох – задержка – выдох. А потом задергается, захрюкает, обвалится на меня всем своим волосатым и вялым телом и затихнет. И, отдохнув на мне минуту-другую, перевалится на край кровати, повернется спиной и тут же заснет, чтобы проснуться, как всегда, в четверть восьмого.

Сколько я с ним живу, не могу понять, что он за человек. Зачем он на мне женился, что обо мне думает и вообще для чего я ему? Почему он не говорит мне приятные слова, не обнимает, не ласкает, не целует? Если он меня не любит, то чем вызывается его регулярное желание? Если даже просто физическим здоровьем, то почему он делает это так скучно, не пытаясь достичь хоть какого-то разнообразия?

Я его понять не могу, но для других он тоже загадка. Он один из главных авторов и энтузиастов проекта поворота сибирских рек, за что наши патриоты готовы разорвать его на куски. Они обвиняют его в злом намерении погубить русскую природу, которая, по их предположению, ему ненавистна, почему и пытаются вычислить в нем еврея. А он настоящий русак, вятич, Василий Гаврилович Спешнев. Да и сами его фантазии выдают в нем русского самородка с размахом. Его интересует не уничтожение русской природы, но, правду сказать, и не сохранение, а исключительно грандиозность инженерной задачи. Он с детства мечтал прорыть туннель под Ла-Маншем, перекинуть мост через Берингов пролив, растопить Антарктиду, изменить планетарный климат, а вопрос «зачем?» для него второстепенен. Хотя моему присутствию в его жизни у него, я думаю, все-таки какое-то рациональное объяснение есть. Это очень удобно иметь при себе ...льную¹ машину, которая к тому же умеет варить и стирать. По-моему, он даже не представляет себе, что у меня к сексу тоже может быть определенное отношение, и даже не удивляется, почему, несмотря на регулярность его усилий, я ни разу не забеременела.

Вообще никакого интереса к организму своей жены. Когда я говорю, что мне сегодня нельзя, он очень удивляется (Да? Гм!) и, отвернувшись к стене, немедленно засыпает, ви-

¹ Разумеется, в оригинальном тексте Э. Барская пишет любые слова «как они есть», не затрудняя себя заменой букв точками или подыскиванием эвфемизмов.

димо, недовольный тем, что машина несовершенна и время от времени останавливается для профилактики.

Не могу даже представить себе, как он ко мне относится. Как бы себя повел, узнав (предположим), что я ему изменяю. Что бы сделал? Стал бы устраивать сцены, накричал, дал по морде, молча собрал бы чемоданы и ушел? Я подозреваю, что он не сделал бы ничего. Просто пропустил бы это сведение мимо ушей, а по ночам трахал бы меня, как всегда, не хуже, не лучше, не заревновав, даже не возбудившись, как это случилось с очередным Люськиным мужем по прозвищу Общий Рынок...

Встречное перетекание душ

В рукописи было письмо, которое я не сразу заметил, потому что оно оказалось вложенным в середине между страницами. В отдельном незакрытом конверте с рисунком, посвященным какой-то годовщине стахановского движения. На рисунке был сам Стаханов в шахтерской каске, с отбойным молотком на плече, на фоне чего-то зловещего. А ниже разместились точечные линии, по которым следовало четко вывести цифры индекса предприятия связи в соответствии с образцами, приводимыми на другой стороне конверта.

Из конверта был вынут двойной лист бумаги из тетради в линейку, весь исписанный смутно припоминаемым круглым некрупным почерком.

Дорогие! Прошла вечность с тех пор, как. В течение вечности несколько раз передавала вам приветы через знакомых иноземцев и прочих оказантов, а писать не писала. Каюсь и не оправдываюсь. Но не писала не из трусости или осторожности, а по предположению, что все равно общения не может быть никакого, кроме отрывочного, спорадического, не утоляющего насущную жажду и лишь саднящего. Общение дружеское или любовное только тогда ценно, когда оно есть непрерывное встречное перетекание душ. А какое уж тут перетекание, когда пишешь на деревню дедуш-

ке, никогда не зная, дойдет ли, через какие руки пройдет и кем будет прочитано. Когда отправитель и адресат существуют в разных мирах и находятся в несовпадающих обстоятельствах и настроении. Я чувствовала, что это уже не общение, а, как говорит мой Антон, сплошная дробилка, и потому сколько раз бралась за письмо, столько раз и бросала. Вы уехали так далеко и так навсегда, что я вас просто оплакала, похоронила и повесила на стену вашу фотографию, где вы оба на лыжах и такие спортивные, правда, Володька уже с брюшком, которое он безуспешно пытается втянуть в себя, отчего раздувает щеки. Интересно, а как сейчас?

Сейчас у нас забрезжило и моросит эликсиром жизни. Такое ощущение, что срастается разрубленное, воскресают почти буквально вымершие организмы и усопшие человеку (читай поэта Андропова) подают голоса с того света. И затеплилась надежда, что свидимся, чему не верю, к чему всем своим чахлым сердцем стремлюсь и дрожу от страха – а не слишком ли мы за прошедшие столетия почуждели?

Представить состояние нашего общества со стороны, мне кажется, невозможно. Творится что-то невероятное, чего нельзя осмыслить и объяснить. Все пришло в движение. Издают Платонова, не печатают Маркова, говорят об отмене цензуры, о многопартийной системе, об индивидуальной (слово «частная» никто произнести не решается) трудовой деятельности, моя племянка Аленка бежит куда-то

на аэробику (буржуазное разложение), на улицах появились панки и кришнаиты, молодой человек полчаса простоял на Красной площади возле ГУМа с плакатом «Я – гомосексуалист», но потом был все же побит (по Антону – отмудохан) своими высокоморальными соотечественниками.

Что же касается отношения общества к отъехавшим, то оно, увы, не то, которого вы (и я), может быть, ожидали. Диапазон от недружелюбного до враждебного. Куда ни зайдешь, везде слышишь: мы были здесь, мы терпели, мы свое пережили, выстрадали, вынесли, а они уехали, пусть там сидят и кушают свою колбасу. Меня поражает бесстыдство, с которым многие наши благоразумные умники, просидев всю жизнь под корягами, ни разу не вякнув против властей, теперь самоутверждаются и изображают свое премудрое пескарство как подвиг. Они словно сговорились и называют друг друга правдолюбцами, апостолами совести, мужественными борцами (одному, отличавшемуся всю жизнь весьма робким характером, даже премию дали за мужество). Одна из моднейших тем: диссиденты ничего не сделали. Уехавшие все уехали добровольно и, разумеется, исключительно из бытовых соображений. Теперь они понимают, что совершили ошибку, и, не видя пути назад, надеются, что наша перестройка провалится.

У нас недавно Антон по случаю своего многолетия устроил попойку, и сошлись все свои. Разговаривали тихо-мирно, пока не зашла речь о выступлении украинского партийного

письменника, который где-то на какой-то капэээсэсной ту-совке (самое модное слово) сказал, что ничего хорошего туда (на Запад) не уехало. Тут Сигов сказал: «Ну и правильно». – «Что правильно?» – переспросил Антон. «Правильно, что ничего хорошего туда не уехало». – «Подожди, – сказал Антон, – я хотел бы уточнить. Ты тоже считаешь, что среди уехавших туда нет ни одного стоящего писателя? Так я тебя понял?» – «Не так, – сказал Сигов. – Один там есть». – «Кто? – спросил Антон. – Как его зовут?» Сигов сказал: «Солженицын». Антон вышел в коридор и, вернувшись с пальто и шапкой Сигова, сказал: «Позвольте мне как гостеприимному хозяину за вами поухаживать».

Сигов побледнел, вырвал пальто и шапку и выскочил, хлопнув дверью. Вечер был испорчен. Все стали расходиться, а я осталась помочь Антону помыть посуду. Когда все ушли, Антон выключил телефон, открутил воду (чтобы заглушить возможные микрофоны) и сказал, что на днях он встретил бывшего своего однокашника по военно-морскому училищу, тот сейчас работает в ГБ. Этот гэбэшник сказал Антону, что у них разработана полная программа постепенной перестройки в литературе и возвращения запретных имен. Сначала опубликовать тех, которые здесь, потом мертвых, которые умерли здесь, потом мертвых, которые умерли там. С мертвыми вообще возиться подольше и пошумнее. Устраивать разные церемонии. Возложение венков, открытие памятников, перезахоронения, переимено-

вания. Пусть будут звезда Пастернака, улица Ахматовой, дом-музей Цветаевой, теплоход «Михаил Булгаков» и типография имени Зоценко. В то же время следует распространять кислые мнения о живых. Надо говорить, что они мелкие люди, уехали из шкурных соображений, теперь кусают локти, оставшихся презирают и желают им зла, там ничего хорошего не написали, сюда возвращаться не собираются. Из всех оказавшихся там есть только один, один, совсем один, великий, непримиримый, неподкупный, не мелочный, не чета всем прочим, он больше всех любит свою Россию, только он один жил всегда интересами России и только он один придет к нам не туристом, как некоторые, не гостем (он уже сказал, что домой в гости не ездят), он придет сюда, чтобы жить здесь и умереть.

Кагэбэшник сказал Антону, что они свою прямую борьбу с Солженицыным прекратили, теперь будут подрывать его репутацию неумеренными похвалами и подрывать репутацию других, противопоставляя им Солженицына.

Услышав такое, я сразу поняла, что к чему. А то все удивлялась: как это такие разные люди – правые и левые (левые даже чаще, чем правые) – и в газетах, и по телевизору, и в ресторане, и на кухне без конца одно и то же плетут, как будто их всех инструктировали в одном кабинете. Теперь думаю, что и правда в одном. Еще думаю, что, может быть, есть инструктированные, а есть такие, кому сия точка зрения лично дорога.

Если до вас это бредятина, сварганенная на Лубянке, доходит, не огорчайтесь и не думайте, что все принимают подобные откровения за чистую монету. Хотя многие принимают.

Что же касается подательницы сих каракуль, то она, являясь существом легкомысленным, вздорным, грешным и отнюдь нисколько не героическим, одно только ставит себе в заслугу, что всегда пыталась отличить правду от того, что ею не является, и сама себе намеренно не врала. Чему доказательством могут служить...

Да, дорогие, вы правильно заподозрили, надумала и я на старости стать, прости господи, писательницей. Живя в нашем мраке и совсем ошалевши от всего свалившегося на мою голову с покрашенными сединами, решила я описать свою бабскую жизнь такой, какой она была и пока еще есть, и с первой страницы поняла, что если описывать ее в рамках, дозволенных общей цензурой, то и за дело приниматься нечего, она вся состоит из действий, явлений, мыслей и слов, ни с какой цензурой не совместимых и не передаваемых намеками, многоточиями и эвфемизмами. Насчет последнего я как раз очень сильно старалась и избегала описания некоторых положений и употребления крепких слов, но потом подумала: а как же я опишу свою жизнь и жизнь своих знакомых, если в нашем кругу писателей, ученых, переводчиков, литературоведов, людей в высшей степени интеллигентных и образованных, все без исключения и давным-давно

вышли за пределы нормативной лексики? Так что, если попытаться наши разговоры изобразить средствами, допускаемыми цензурой, они превратятся в сплошное многоточие, соединяемое изредка предложениями и приставками. Я долго над этой проблемой мучилась, даже, можно сказать, извелась ею. Описание любого дня моей жизни немедленно приближало меня к тому или иному табу, через которое я по природной робости не осмеливалась переступить. Но однажды по пути в поликлинику встретила того же Антона, который вместо «здрасьте» приветствовал меня такими словами: «Что-то у тебя, старуха, сегодня такой вид, словно бы с пере...»²

Воротившись домой, я в порядке литературного упражнения попробовала записать эту фразу, заменив неприличное слово приличным. Написала несколько вариантов: «Что-то ты, старуха, словно не выспалась... словно недоспала... словно тебе чего-то недодали...» Плюнула на все и написала: «словно бы с пере...». И поняла, что так и надо. Пушкин сказал: пиши, как говоришь, – а мы все говорим именно так, да другие слова к нашей жизни и не подходят.

Так я думаю. Если, Володя, ты меня не осудишь и найдешь мою писанину достойной печатного станка, то, будь добр, поспособствуй этому под указанным псевдонимом. Он мне нравится тем, что пошловат и загадочен...

² См. примечание № 3

Жизнь целиком

Лев Толстой представлял, что душа человека после перехода в мир иной видит свою прошлую земную жизнь не как цепь событий и не как свиток, разматывающийся от рождения к смерти или наоборот, а всю целиком: и детство, и юность, и отрочество, и старость, и все сразу во всех подробностях.

Догадку Толстого мы скоро и, очевидно, раньше, чем хотелось бы, проверим (да никому не скажем), но мне мое прошлое уже сейчас и на этом свете видится одним цельным куском. Стоит только чуть-чуть напрячься – и вот она, вся моя жизнь, где я вижу себя одновременно и маленьким мальчиком Вовой, и пожилым дядей, которого зовут по имени-отчеству, и ремесленником, и солдатом, и пастушонком, и рабочим, и сочинителем, и диссидентом, и эмигрантом, и себя разного в разных местах, где жил – от Душанбе и Ходжента до Мюнхена и Вашингтона. Всего этого изобразить никаким искусством нельзя. И словесным можно меньше, чем каким бы то ни было. Но вопреки очевидным невозможностям, я долго и упорно думал, как бы мне все-таки исхитриться показать всю свою жизнь одним куском, сплавив в нем воедино прошлое, настоящее, будущее, реалии быта, приключения, переживания, замыслы, завершенные и незаконченные, которые есть тоже непрменная и существенная составная мо-

ей жизни. А если нельзя единым куском, то хотя бы кусками, которые словно свалены вместе в один мешок и могут быть вытягиваемы попеременно из разных времен, какие попадутся под руку.

Между прочим, еще в ранней молодости, не думая ни о каком замысле и не вникая в себя, я собирался намеренно плыть по течению. Плыть, не избегая своей судьбы и не пытаясь ее улучшить. Например, родители послали меня в ремесленное училище, я не хотел, а поступил – пусть будет так. Пришла повестка в армию, можно было попробовать уклониться, я не попробовал и четыре года, говоря словами Устава, переносил тяготы и лишения воинской службы. Было еще много случаев, когда я слепо шел по пути, как бы заведомо мне предназначенному, и сама судьба редко предоставляла мне альтернативные варианты. Но иногда предоставляла.

Хорошие мужики

24 февраля 1980 года был день выборов в Верховный Совет СССР. Проходил он, как всегда, при переизбытке красного цвета на лозунгах, транспарантах и плакатах с героическими биографиями будущих депутатов, которые никто не читал, и их портретами, которые никто не знал, если они не были из тех, кто по праздникам стоит на трибуне Мавзолея и приветствует ликующие колонны помахиваниями вялой руки.

Выборы были обыкновенные, советские – один депутат из одного кандидата. Все шло по плану. За несколько дней до выборов Леонид Ильич Брежнев (хороший мужик³) и ближайшие его соратники поместили в центральных газетах свою благодарность коллективам трудящихся, повсеместно выдвинувших их в депутаты, и свои извинения, что в соответствии с Конституцией СССР, слишком демократичной, каждый из них может только и исключительно баллотироваться в одном, увы, единственном избирательном округе.

³ «Хороший мужик» – это в советском и постсоветском обществе человеческое существо мужского пола, которое не выказывает излишнего рвения в деле удавления себе подобных. Оно может и должно проявлять обыкновенные и понятные человеческие побуждения – деньги, женщины, вино, домино, карты, охота, рыбная ловля, баня, – может воровать, брать взятки, но и к слабостям других людей готово по возможности снисходить. Если, впрочем, снисхождение самому снисходящему никакими неприятностями не угрожает.

Но нашему округу повезло. Избирателям нашего округа предстояло единодушно отдать свои голоса за члена Политбюро ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина (хороший мужик), чьим кислым изображением с большой бородавкой на правой щеке был украшен каждый подъезд каждого дома в нашем микрорайоне.

Приходила на днях агитаторша, полная тетя с тонким блокнотиком. Обычно присылают студентов или студенток, а эта по возрасту могла бы быть и профессором.

У нее был обтянутый плотным свитером очень выпуклый бюст, и на левой его половине прилепился значок с изображением Владимира Ильича Ленина. Значок был похож на маленькую бабочку, которая, казалось, сейчас вот сорвется, вспорхнет и вылетит в форточку.

– Вы придете, конечно, на выборы? – спросила тетя почти утвердительно и уже занесла карандаш, чтобы поставить галочку.

– Конечно, – сказал я. – Конечно же, не приду.

Она сначала подумала, что шутка, а потом засуетилась: что? как? почему? Водопровод не работает, или крыша течет, или чего? Некоторые своекорыстные люди использовали выборы для того, чтобы предъявить властям свои мелкие претензии по бытовой линии. Но у меня водопровод работал исправно, крыша не протекала, а что живущий надо мной критик Михаил Семенович Гус время от времени забывал

закрутить воду в ванной и заливал мой кабинет, так с этим, пожалуй, к агитаторам, кандидатам и депутатам обращаться бесполезно, они ничего с Гусом сделать не смогут. Потому что его легче расстрелять, чем научить закручивать воду, но в период торжества ленинской законности у нас за незакручивание воды уже никого не расстреливали.

– Так почему же вы отказываетесь принять участие в выборах? – допытывалась агитаторша.

– Я отказываюсь, поскольку не имею ни малейшего сомнения, что Алексей Николаевич Косыгин безусловно и с большим перевесом на этих выборах сам себя победит. Вот если бы ему грозило, что его не изберут...

– Мне ваша позиция кажется странной, – сказала она. – Мне придется сообщить о ней по месту вашей работы.

Она была, видимо, недостаточно информирована и не знала, что угрозу свою ей выполнить не удастся, ибо у объекта ее агитации никакого места работы лет уже семь как не было. Изгнанный отовсюду, полностью запрещенный, круглосуточно окруженный сменяющимися нарядами КГБ, с отключенным уже несколько лет телефоном, я нигде не служил и не был причислен ни к какой советской организации, что и давало повод нашему участковому Ивану Сергеевичу Стрельникову (хороший мужик) являться время от времени с дураковатой улыбкой и вопросом, когда же я наконец устроюсь куда-нибудь на работу.

Ходоки и посетители

День этот был холодный, вьюжный, богатый ходоками из дальних мест.

В половине восьмого утра явился подпольный гражданин с Украины со своими каракулями на листках, вырванных из тетради в клеточку. Он приходит ко мне далеко не первый раз, но имя свое держит в тайне, а каракули подписывает ПАТИКОСТ, что, как я впоследствии вычислил, означает Павленко Тимофей Константинович. Когда я ему это сказал, он не на шутку перепугался и заподозрил, что сведения мною добыты из каких-то опасных источников. Не понимая того, что, описывая политические дискуссии со своими неизвестными мне собеседниками, сам время от времени упоминает и имя свое, и отчество, и фамилию.

Испугавшись, он перестал, слава богу, ко мне ходить, но это потом, а в тот день Патикост (переименованный моей женой в Пятихвоста), еще не испуганный, доставил пачку листовок, написанных от руки на той же бумаге в клеточку. В листовках – призыв к народу свергнуть «власть советских фашисто-коммунистов и их незаконных прихвостнев» (в описываемое время такие слова к числу общеупотребительных не относились и могли стоить автору головы). К пачке приложено обращение к американскому президенту Картеру с просьбой указанные листовки при помощи спутников раз-

бросать равномерно по всей территории СССР, а если фашисто-коммунисты попытаются помешать этой акции, нанести им «сокрушенный ракетно-ядерный удар».

– Но вы представляете, – говорю я ему, – что, если американский президент последует вашему совету, мы все погибнем?

– Лучше смерть, чем такая жизнь, – отвечает Пятихвост и беспечно машет рукой.

– Ну, знаете ли, – говорю я, – большинство людей предпочитают такую жизнь никакой, поэтому передать ваше письмо я не берусь.

Разочарованный моим малодушием, он уходит.

За ним следует еще один персонаж, как всегда, с одной и той же выпаливаемой с порога скороговоркой:

– Передайте Сахарову и Гершуни, что я на этот матримониальный вариант не согласен. Они хотят женить меня на иностранке, а я не могу, я женат, и я своей женой доволен.

При этом он всегда становится спиной к стене (верный признак мании преследования). Скромная материальная поддержка (25 рублей) действует на него благотворно, и он уходит несколько успокоенный.

Он ушел, а я сел к столу и вложил в машинку лист бумаги, чтобы переписать сцену возвращения Чонкина в пятьдесят шестом году из лагеря, куда он попал сразу после войны.

Ему объявили, что он оказался ни в чем не виновен, и спросили, куда выписать литер на проезд по железной доро-

ге. К этому вопросу он был не готов. По причине большого срока и обещаний начальства он планировал жизнь свою завершить в лагере, а тут такая оказия: не виновен и – иди куда хочешь. Он стал думать: от места, где родился и рос, отбился давно, а что есть еще? И вышло так, что хотя с Нюрой жил он очень коротко в каком-то давно прошедшем плюсквамперфекте, с тех пор ничего о ней не слышал и сам ей ни разу не написал, а не было у него на свете существа более близкого, чем она. И, подумав, он назвал адрес: деревня Красное...

Не успел я это изобразить, звонок в дверь – пришли родители жены Анна Михайловна и Данил (одно «и») Михайлович. Ира куда-то ушла, Анна Михайловна сидела у Оли, а Данил Михайлович (пятьдесят лет в КПСС) рвался ко мне провести со мной очередную политбеседу о том, что я напрасно доверяю американским империалистам, которые меня хвалят исключительно из политических соображений. Зато, что я своим «Чонкиным» подрываю уважение к Советской Армии и тем самым подрываю ее боевую мощь. Мне надо не к американцам прислушиваться, а присмотреться к действительности и понять, что недостатки в нашей жизни есть, есть (кто же это отрицает?), но партия их видит, исправляет и ведет нас, в общем, в правильном направлении.

На этот раз я от дискуссии уклонился, тем более что возникший с мороза Володя Санин принес какие-то сплетни из жизни советских писателей, и одна из сплетен была такая. Не имеющий обеих рук (инвалид войны) поэт Д. привел к се-

бе на ночь девушку. Насладившись ею сполна, он в два часа ночи позвонил в дверь своему соседу поэту М. и предложил свою спящую гостью ему. М. объяснил своей сонной жене ночное приглашение прихотью соседа читать ночью только что написанные стихи. Д. впустил М. в спальню, сам лег на диванчик на кухне и уже засыпал, когда вдруг раздался душераздирающий крик: «Откуда у тебя рруки?!»

Ужас какая история.

После ухода Санина был семейный обед с женой, дочерью, тещей и тестем.

Потом тесть и теща удалились, Ира с Олей отправились к кому-то из Олиных подружек на день рождения, но я один не остался, ко мне пришел Валя Петрухин, мой друг, доктор физматнаук, один из самых необыкновенных людей, встреченных мною в жизни. Он всегда совершал поступки, казавшиеся даже мне сумасбродными, и меня подбивал на такие же. Он считал, что в жизни нет непреодолимых препятствий и неосуществимых желаний, надо только «копать шансы» и непременно до чего-нибудь докопаешься. Друзей всегда осыпал подарками. Если возникала необходимость положить кого-то в больницу, достать редкое лекарство, устроить чью-нибудь дочку в институт, перепечатать самиздатовское сочинение, Валя говорил: «Ноу проблем», и казалось, что у него их действительно не было. Он постоянно носился с идеями самого разного толка: заработать миллион, устроить подпольную типографию, пробраться в Горький к Сахарову,

перелететь на дельтаплане из Грузии в Турцию, с помощью правильно поставленного научного эксперимента выяснить возможность загробной жизни. Не все идеи он брался осуществить практически, но, берясь, всегда побеждал. Но последнее время все чаще впадал в депрессию, и тогда становился мрачным, скучным, ординарным и сам собой тяготился. В этот раз он только что выбрался из депрессии, был более или менее в форме и даже поинтересовался моей текущей работой. Я ответил, что опять после долгого периода обращаюсь к старому замыслу, и пересказал своими словами сочиняемую главу о возвращении Чонкина в деревню Красное ясным днем в начале лета 1956 года.

Иван Чонкин. Вариант

Полный сомнений, найдет ли он Ньюру, жива ли она, а если жива, то не вышла ли замуж, а если не вышла, то примет ли, подъезжает Чонкин на поезде к станции Долгов. У окошка с желтым флажком сидит усталая проводница. На руке наколка: «Таня». Чонкин приблизил к ней свою руку с наколкой «Ваня»:

– Будем знакомы.

Разговорились. Таня рассказала о своей жизни, о муже, который в сорок первом ушел на фронт, и с тех пор ни слуху ни духу.

– Может, еще вернется, – предположил Чонкин.

– Куда ж, – вздохнула Таня. – Столько времени прошло.

– Ну мало ли чего. Некоторым пришлось в дороге подзадержаться.

От Долгова пошел пешком, перекинув через плечо мешок, называемый в народе сидором. Спускаясь с пригорка к околице Красного, встретил подростка на велосипеде «Орленок».

– Чей будешь? – спросил Чонкин.

– Гладышев Геракл.

– Молодец! – сказал Чонкин. – А Ньюрку-то Беляшову знаешь?

– Ну, – сказал Геракл.

– И где живет, знаешь?

– Как не знать! Там вон живет, в той избе.

И показал на ту самую избу, которая где стояла, там и стоит. Чонкин удивился. За это время в его жизни произошло столько всяких событий, а изба какая была, такая и есть, не сгорела, не покосилась и с места не сдвинулась.

– А с кем же она живет, Нюрка? – спросил он осторожно.

– Теть Нюра-то? С кем же ж она живет? Одна живет.

– Молодец! – сказал Чонкин. Порывшись в кармане, достал кусок рафинаду, сдул с него махорочную пыль, протянул юному Гладышеву.

– На вот!

– Что это? – покосился Геракл на угощение.

– Сахар, – сказал Чонкин. – Рафинад, бери.

– Еще чего! – брезгливо сказал Геракл. – Кабы щеколаду...

– А почему пятьдесят шестой год? – спросил Валя.

– А потому что, когда я писал это в начале шестидесятых, события пятьдесят шестого года были главными в нашей истории. И мне казалось, что именно в пятьдесят шестом и должна была завершиться эпопея солдата, прошедшего войну и лагеря.

– А ты не думал, что Чонкин мог бы делать сейчас?

– Нет, не думал.

– А почему бы тебе не сделать его диссидентом?

– Смеешься, что ли? Диссидент – это обязательно в какой-то степени бунтарь и почти во всех случаях человек, думающий о себе нескромно. А Чонкин – человек тихий, мирный, исполнительный. Он если и воюет, то только ради исполнения долга, но не из личных амбиций. К тому же, если продолжать историю Чонкина и ввергать его в новые приключения, сюжет получится слишком громоздким...

Ультиматум

Так я сказал Петрухину, но после его ухода задумался и стал фантазировать, еще не всерьез, о возможном развитии сюжета с приближением к нашим дням и чуть не прозевал передачу «Немецкой волны», которую почему-то единственную из зарубежных власти не глушили.

Начало известий я пропустил, а в конце их немцы сообщали, что после ссылки академика Сахарова в Горький советские власти усилили преследования инакомыслящих. В Вильнюсе агентами КГБ была обнаружена и разгромлена подпольная типография, на советско-финской границе задержан военный служащий, пытавшийся уйти на Запад.

За последними известиями последовал обзор печати, в рамках которого недавние русские эмигранты рассказывали о своих впечатлениях от западной жизни. Вместо ожидаемых, очевидно, восторгов по поводу материального изобилия, спрашиваемые кинулись критиковать недостатки западного общества, подразумевая под ним всех жителей Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканской Республики. Знаменитый диссидент выражался сурово, говоря, что Запад разнежился, проявляет слабость духа и преступную уступчивость коммунистам, которые коварны, ненасытны и, заглотив половину мира, раззявили пасть для заглота вто-

рой. А Запад в это время живет не по средствам, беспечно веселится в дискотеках и погрязает в разврате, чему свидетельство наркомания, проституция и самое ужасное – порнофильмы в общедоступных кинотеатрах.

Другой диссидент, тоже известный, в целом со знаменитым согласился, но к критике порнофильмов отнесся легкомысленно, мимоходом заметив, что смотреть их взрослому человеку скучно, а вот лет до четырнадцати почему бы и нет – познавательно и отвлекает от более вредных занятий вроде игры в футбол.

Со вступлением в дискуссию третьего участника, немецкого политолога, совпал звонок в дверь. С проклятиями – кого там еще нелегкая? – пошел я к двери и, открыв ее, увидел на лестничной площадке двух незнакомых мужчин: один повыше и постарше, в сером пальто и в шапке из барсука, другой пониже, помоложе, в пальто темном, бесформенном, вытертом и в шапке из зверя дешевого, облезшего, должно быть, еще при жизни.

– Владимир Николаевич? – удостоверился старший. – Мы агитаторы, интересуемся, почему вы не идете голосовать?

– Я не иду голосовать, потому что не хочу.

– А почему не хотите?

– Просто не хочу.

– Но это не ответ. У вас есть какие-то серьезные причины?

– Слушайте, – стал я сердиться, – какая вам разница, какие у меня причины, серьезные или несерьезные? Вас посла-

ли ко мне, пойдите и скажите, что он не идет, и все. А мне вам объяснять все сначала скучно и неинтересно. Ведь вы даже не знаете, кто я такой.

Оказалось, я не к месту поскромничал.

– Владимир Николаевич, – сказал старший. – Мы знаем, кто вы такой. И хотели бы поговорить с вами не только о выборах.

– А о чем же еще? – удивился я.

– Вообще обо всей вашей жизни. Поверьте, нам есть, что вам сказать. Можно войти?

Заинтригованный их странной настойчивостью, я подумал и сказал:

– Одного пушу. А двоих ни в коем случае.

Для такого предупреждения у меня было достаточно оснований. От подобных агитаторов мне уже приходилось отбиваться и даже с применением чего под руку попадет.

Младший вопросительно посмотрел на старшего. Старший помедлил и сказал младшему:

– Останься и подожди.

– Здесь или на улице? – спросил младший с развязной игривостью.

– Подожди на улице, – был ответ, и младший тут же двинулся к лифту.

Хотя неожиданный гость остался один, я, пропуская его вперед, был бдителен. Держа дистанцию, обошел его, выключил приемник и спросил, чем могу служить.

Вошедший выдержал секундную паузу, снял шапку и заговорил четко и гладко, словно читал по бумаге:

– Владимир Николаевич, я из райкома КПСС, моя фамилия Богданов. Я уполномочен вам передать, что терпение советской власти и народа полностью исчерпано.

Это были слова, не достойные никакого ответа. Но я счел необходимым хотя бы по ритуалу ответить, что насчет советской власти не знаю, а народу я ничего плохого не сделал.

– Вы можете говорить что хотите, – продолжил Богданов, – но мне также поручено вам передать, что, если вы не измените ситуацию, в которой находитесь, ваша жизнь здесь станет невыносимой.

– Что это значит? – спросил я. – Как я могу изменить ситуацию?

– Я сказал вам все, что мне поручили.

– В таком случае передайте тем, кто вам поручил, что мое терпение тоже кончилось, моя жизнь уже сейчас невыносима и, если речь идет о том, чтобы я покинул СССР, я готов это сделать.

– Хорошо, – сказал он, – я так и передам. До свиданья...

Таким образом, мне, может быть, в тот день единственному человеку во всем Советском Союзе, было предложено реально выбрать одну возможность из предлагаемых двух.

Делай, что должно

Литератор Александр Храбровицкий прислал мне однажды свою работу (впоследствии мною утерянную), которая называлась: «Делай, что должно, и не думай о последствиях». Собственно, работа состояла из рассказа о том, что существует такое изречение, приписываемое кому-то из древних римлян (в работе было названо имя, но я его позабыл), на латыни оно звучит так-то, а по-французски вот так. Это изречение уважали, записывали, переписывали и передавали другим Паскаль, Толстой, Ганди, кто-то еще...

Изречение мне понравилось. Оно настолько соответствовало моим собственным понятиям об основном правиле поведения (для себя), что я был удивлен, как это раньше оно мне не попадалось. Еще в молодости я пришел к выводу, что думать о последствиях самое безнадежное дело – они непредвидимы. Благоразумие никогда не было в числе почитаемых мною добродетелей. Я делал, что должно, о последствиях особо не заботился, и они в конце концов оказались более милостивы, чем можно было бы ожидать.

Но теперь я все-таки задумался о последствиях, поскольку потерял ориентиры и больше не знал, что должно делать.

И пошел целый

Первый раз меня собирались съест и отнюдь не в переносном смысле, а самым натуральным образом, когда мне было десять месяцев от роду. Мои родители, которые всю жизнь зачем-то колесили по всем доступным им пространствам, привезли меня из Таджикистана в город Первомайск на Донбассе показать своего первенца бабушке Евгении Петровне и дедушке Павлу Николаевичу, которые в те места тоже попали случайно.

К тому времени на Украине уже начался знаменитый голод 1933 года.

Мать моя, по молодой беспечности оставив меня где-то на лавочке, отвлеклась на какое-то дело, а когда вернулась, того, что оставила там, где оставила, не было. Ей повезло, что тетка, которая меня украла, еще не успела удалиться, что она была неопытная воровка и слишком слаба для борьбы с разъяренной матерью.

Таким образом, я был спасен для дальнейшего сопротивления бесконечным попыткам разных людей, организаций и трудовых коллективов съест меня, как говорят, с потрохами.

Моя младшая дочь Ольга в возрасте около трех лет сочинила такую сказку:

«Шел слон. Навстречу ему волк. Волк сказал: «Слон,

слон, можно я тебя съем?» – «Нельзя», – сказал слон и пошел целый».

Мать моей дочери говорит, что эта сказочка про меня.

Но, правду сказать, к моменту, когда слону был предложен выбор, он только со стороны выглядел целым. А на самом деле был уже сильно покусан, обгрызен и еле-еле жив.

С печенью в сердце

В июле 1988 года в палату интенсивной терапии больницы района Богенхаузен в Мюнхене был доставлен русский писатель-эмигрант, который на плохом немецком языке и с помощью дополняющих речь междометий и жестов изобразил жжение в груди вроде изжоги. Дежурный врач вызвал заведующего отделением доктора Кирша. Тот, как выяснилось, бывал в Румынии и потому считал себя осведомленным в родном языке пациента.

– Спокойный вечер, – сказал он, войдя в палату, хотя было всего лишь позднее утро. – Имеете о чем пожалеть?

Писателю было, конечно, о чем пожалеть. Ему было жаль бесцельно растраченных лет, иллюзий, денег и еще того, что сорвалась поездка в Америку. Но он предположил, что его спрашивают не об этом. И догадался: на что он жалуется?

– Ja, ja, – сказал он охотно. – Ich habe etwas für пожалеть. Es brennt hier.

– Где печень? – спросил доктор, продолжая свои упражнения в русском языке. – Тут печень? – И положил руку больному на грудь.

– Найн! – испугался больной. – Моя печень есть здесь. – И показал на правую сторону своего живота.

– Вас? – озаботился доктор. – Здесь тоже печень? – Он встал со стула, воткнул пациенту в живот все десять паль-

цев и стал мять его, словно месил тесто. Пока месил, забавлял пациента беседой. – У вас в России большие события. Перестройка, гласность. Горбачев великий человек, а его Раиса очень шармантная дама. – Подумал, покачал головой. – Здесь никакой печени нет. Здесь есть печень. – Положил опять руку на грудь. – Здесь, – повторил, – печени нет, здесь есть.

Больной заволновался. Он допускал, что в результате нездорового образа жизни и чрезмерного употребления алкогольных напитков печень могла сместиться, но неужели так далеко? Подумав, он сообразил, в чем дело, но решил уточнить:

– Доктор, вы имеете в виду, что здесь *brennt*, то есть печет?

– Яволь! – сказал доктор, довольный, что его наконец поняли. – Здесь печень.

– А здесь не печет?

– Здесь нет печени, – согласился он и принялся делать больному кардиограмму.

Кардиограмма оказалась нехорошей, а в эстетическом отношении и совсем безобразной. Вместо привычных высокогорных зазубрин с острыми углами какие-то кривые ползучие волны, словно проведенные пьяной рукой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.